
ПОЛЕССКАЯ КАРТОТЕКА
РАСПИСКА
Дело № 6
Никита Соколов

Никита Соколов
Расписка

https://litres.ru/74735814
SelfPub; 2026

Аннотация

Никита Соколов дошел до предела. Время утекает сквозь пальцы, долги давят на плечи, а контора нотариуса Ровного готовится провернуть главную сделку. Финальная битва развернется там, где всё началось — в тихом селе Заречье, где в далеком 1998 году молодой следователь Никита поставил свою подпись на пустом бланке.

Этот документ — не просто старая бумага. Его подпись стала тем самым краеугольным камнем, на котором Ровный выстроил свою империю по перекладыванию чужих долгов. И теперь у Никиты есть последний шанс разрушить эту цепочку. Чтобы оспорить заверение и рассыпать реестр Должников в прах, ему придется вскрыть подвал конторы и забрать оригинал.

Вместе со Стасей, хозяйкой порога, он выйдет на последнюю охоту. На кону — жизни тех, кого они поклялись спасти, и свобода самого Никиты. Но контора не сдается без боя: Ровный готов предложить сделку, от которой невозможно отказаться, а цена победы может оказаться страшнее любого поражения.

Содержание

Глава 1 4
Глава 2 13
Глава 3 23
Глава 4 33
Конец ознакомительного фрагмента. 35

Никита Соколов
Расписка

Глава 1

Капало с четверти третьего. Сначала Никита принял это за кран в конце коридора, потом вспомнил, что кран в архиве починили ещё осенью, и понял: это крыша. Талая вода шла по жести к водостоку, срывалась с карниза и падала на подоконник ровными, неторопливыми ударами, как падает счёт на чьём-то столе.

Он сидел в дежурной комнате за столом, который остался от прежнего сторожа, и не работал. Комната была узкая, с одним окном, с железной кроватью, застеленной по-казарменному, с электрической плиткой на подоконнике. Стены за зиму отсырели, пахло бумагой, мокрой извёсткой и клеем от старых папок, этот запах давно перестал быть запахом и стал просто воздухом. Здесь он жил с осени. Не потому, что так захотелось, а потому, что дверь его собственной квартиры на Московской перестала быть для него дверью: он стоял перед ней, видел замок, ключ подходил, но порога не было. Об этом он помнил хорошо. Это была не та память, которую у него взяли.

Телефон лежал рядом, экраном вверх. Наручных часов

Никита не носил: часы на запястье говорят одно, телефон другое, а ему нужен был один источник, за который можно ответить. На экране было 02:41, пятница, двадцать шестое марта. Он взял блокнот, открыл на чистой странице и записал: «02:41. Дежурная комната, архив, Брест. Капель. Один». Потом поставил точку, как ставил её всякий раз. Точка нужна была не тексту, а ему.

Эту тетрадь он завёл в ноябре, когда кончился прежний блокнот: в клетку, на девяносто шесть листов, из тех, какие в архиве выдают под опись. К концу зимы она разбухла, обложка расслоилась по краям, листы пошли волной от рук и сырости. Первая запись в ней была сделана в тот день, когда он понял, что на слово себе верить больше нельзя: «19 ноября, 10:32. Архив. Проверка». Дальше шёл каждый час, место и время, одно и то же, без чувств и без оценок. Протокол собственной жизни. Следователь, который написал бы такое про свидетеля, назвал бы свидетеля ненадёжным. Никита называл ненадёжным себя и поступал соответственно.

Сегодня он решил свести итог. Не потому, что была дата, а потому, что весна пришла, а он до сих пор не посчитал, с чем встречает её.

Он перевернул блокнот на первую страницу и достал из ящика второй лист: чистый, в линейку, с правым полем, как на протоколе допроса. Подписал сверху: «Расчёт». Ниже поставил две даты: «19.11» и «11.01». Девятнадцатого ноября, в десять тридцать две утра, он сделал первую запись. Один-

надцатого января, в двенадцать ноль семь, он сделал последнюю из тех, что помнил написанными собственной рукой, перед тем как всё кончилось. Он пересчитал по календарю на телефоне, потом на пальцах, как считают сроки задержания: тридцать дней до девятнадцатого декабря, ещё двадцать три до одиннадцатого января. Пятьдесят три.

Пятьдесят три дня. Столько он прожил между двумя этими записями. Но жил он не все.

Способ был простой, и он не стал бы его хвалить, но он работал. Блокнот держал часы, телефон держал дни. Если запись в блокноте стоит «14:00», следующая «15:00», а на телефоне между ними легли двое суток, значит, двое суток он где-то был и этого не писал. Не терял сознание, не засыпал: был, делал что-то, куда-то шёл. А потом оказывался на том же стуле, с тем же карандашом, с пальцем на строке. Он так и называл про себя этот зазор: провал по записи. Не потеря. Потеря слово для жертвы. А провал по записи слово для документа.

Он прошёл по блокноту страница за страницей с конца ноября. Нашёл первый провал: четверо суток, Брест. Второй: четверо, кухня в Черничках. Третий: шесть, когда он вообще не мог бы сказать, как они прошли. Остальное взял лес: трое суток открыто, потом семь, и ещё двое сверху; они копились, как копится мелочь, когда её не пересчитываешь. Он складывал в столбик. Дважды сбился, начал заново. Получилось одно и то же.

Двадцать шесть суток.

Он обвёл цифру в рамку и посмотрел на неё. Двадцать шесть из пятидесяти трёх. Почти половина того срока, за который он ничего не успел и всё отдал. Он ждал, что цифра что-нибудь с ним сделает. Но цифра была просто цифрой, и это успокаивало: с цифрами он умел работать. Он записал под ней словами, чтобы не осталось двусмысленности: «Двадцать шесть суток. Не возвращены. Основание: записи, стр. 3–71. Свидетелей нет».

Последнее слово он подчеркнул дважды. Свидетелей нет. Плохая формулировка для дела, и он знал это лучше, чем кто-либо. Дело без свидетелей закрывают или передают в архив. Он сам был архив.

Капало. Он выпил остывший чай, поставил кружку на край стола и вытащил из кармана карточку.

Она лежала там всегда: в левом внутреннем, за подкладкой, в том месте, где человек носит то, что нельзя потерять. Плотный картон, пожелтевший по краям, как в старых картотеках. Лицевая сторона: только «Дело № 5», машинописный шрифт с засечками. Он давно перестал её читать, потому что читать там было нечего. А вот оборот он перечитывал каждый раз.

На обороте шесть строк: «Срок: до весны. Плата: время», четыре строки «Списано» и последняя: «Срок: до весны. Остаток: не указан». Под ней, у самого края картона, оставалась тонкая пустая линия, на которой не стояло ни слова,

ни прочерка. Он смотрел на эту линию так, как смотрит следователь на графу, оставленную свидетелем без ответа. Поначалу он решил, что это недосмотр: контора ошиблась, не дописала, и на этом месте когда-нибудь появится сумма. Теперь он думал по-другому.

Остаток вписывает тот, кто решает. Не тот, кто принимает долг, и не тот, кто его требует. Тот, кто решает, сколько будет считаться возвращённым. Эту мысль он носил в себе неделю, прежде чем решился сформулировать, потому что формулировка была неудобной: до сих пор решал не он. Решали Навь, Должники, чужие подписи, обстоятельства. Он принимал. Он считал. Но ни разу за всё это время не взял карандаш и не вписал в пустую строку то, что считает правильным.

Он положил карточку на стол, ровно, под лампу, рядом с блокнотом. Две бумаги, которые пока не сходились.

Оставалось ещё кое-что, и он достал это последним: ключ. Маленький, латунный, с потёртой бородкой, на кольце без брелока. Ключ Павла Николаевича Крупени. Тот оставил его в Бресте, в кафе напротив конторы, под блюдцем, не как подарок, а как оставляют вещь на хранение, а адрес назвал позже, в Черничках: «Шкаф четыре, полка вторая снизу». Никита записал это в блокнот в тот же час, слово в слово, и обвёл. С тех пор он повторял адрес про себя перед сном, как раньше повторял номер дела. Подпись 1998 года, оригинал, подвал конторы, шкаф четыре, полка вторая снизу.

Всё остальное зависело от этого. Если заверение оспорить по подлиннику, то рассыплется запись, за ней цепочка, а за цепочкой всё, что Эдуард Павлович Ровный строил двадцать восемь лет чужими руками.

Он положил ключ рядом с карточкой. Три предмета. Блокнот, карточка, ключ. Он сел ровнее и сказал вслух, в пустую комнату, потому что привык: так счёт запоминался лучше, чем про себя:

— Двадцать шесть суток. Остаток не указан. Оригинал в подвале.

Голос прозвучал глуховато, как всегда в сырых помещениях. Капля упала на подоконник и разбилась. Он записал время: «03:20». И, чуть ниже, одной строкой, чтобы не забыть, что именно произнёс вслух: «Счёт подведён».

Дальше он ждал. Не спал, не читал, просто сидел и слушал, как оттаивает здание. К шести окно стало серым, потом светло-серым, и крыша перестала казаться чужой. Он умылся холодной водой из-под крана в коридоре, вернулся, застелил кровать, как застилал каждое утро, чтобы комната не превратилась в то, чем она не была.

В начале восьмого на вахте звякнул звонок.

Он не стал спрашивать, кто. Спустился, отодвинул засов и увидел её на ступенях под козырьком: куртка не по сезону лёгкая, рюкзак за спиной, волосы мокрые от измороси, в руках что-то, завёрнутое в старое кухонное полотенце. Стасе было девятнадцать, и выглядела она на девятнадцать, и

именно поэтому он всякий раз забывал, что она давно перестала быть той девочкой из Черничек, которая прятала глаза в печную золу.

— Ночным ехала, — сказала она вместо приветствия. — Автобус стоял в Ляховичах. Мост.

— Проходи, — сказал Никита.

— Я же говорила. Весной.

Она не спрашивала, можно ли. Прошла мимо него в коридор, остановилась у двери дежурной комнаты, оглядела её одним взглядом: кровать, плитка, стол, три предмета под лампой. Ничего не сказала. Никита был ей за это благодарен.

Она пришла не спасать его. Он понял это сразу, по тому, как она села на единственный стул, не дожидаясь приглашения, и положила полотенце на стол между блокнотом и карточкой, как кладут на стол то, что собираются делать вместе. Спасать ей было не от чего: он не тонул, он считал.

Полотенце она развернула сама. Внутри была книга: толстая, в потёртом переплёте из чёрного коленкора, с застёжкой, которая давно перестала застёгиваться. Реестр Должников, тот, что вела бабка Устинья и теперь вела она. Он видел её раньше, но не здесь, не в этой комнате, не под этой лампой.

— Межа оттаивает, — сказала Стася. — Дед Корнеич сказал: до Юрьева дня надо успеть. Хозяин леса молчит, но сам знаешь, как он молчит. Перед тем как заговорить.

— Знаю.

— Тогда смотри. — Она открыла книгу ближе к концу, где страницы были не пожелтевшие, а светлые, свежие, и повернула к нему. — Тут журнал входов. Я его с января читаю. Не всё понятно, но про тебя понятно.

Никита наклонился.

Разворот был расчерчен в клетку, каждая строка начиналась с даты, дальше шли имена, потом короткие пометки. Он узнал несколько: Мельник, Жук, их он ожидал. Узнал и свою фамилию. Она стояла ближе к низу, обведённая не чернилами, а пустым местом вокруг: строки выше и ниже были заполнены плотно, а эта словно оставлена на свету.

«Соколов Н. П. — вход не закрыт».

Он прочёл раз, потом ещё раз, как читал показания, прежде чем подписать. Вход не закрыт. Не «выход не отмечен», не «долг не погашен». Вход. То есть он, как вошёл когда-то в первую дверь, в Крутом Броде, на десятом приборе, так нигде и не вышел. Это могло значить многое, но это могло и ничего не значить, и он не стал решать.

Потом заметил другое. Не слова, почерк.

Все записи в журнале были сделаны рукой Устиньи или Стаси: убористо, с наклоном вправо, с хвостиками на буквах. А эта строка была ровной. Каждая буква стояла на своей линейке, как на чертеже, нажим один, расстояния выверены. Тушь, не чернила: он видел, как она чуть блестит на свету.

Он ничего не сказал. Он умел не говорить, когда слов ещё не хватало.

Стася смотрела не на запись, а на него. Потом на строку. Потом снова на него.

— Это не я писала, — сказала она негромко.

— Знаю.

Он выпрямился, взял со стола блокнот и открыл на сегодняшней странице. Под «03:20. Счёт подведён» вывел новую строку: «07:48. Дежурная комната. Стася приехала. В книге запись, почерк не её». Поставил точку. Потом, подумав, прибавил ещё два слова, чтобы они остались на бумаге: «Принято к сведению».

Капель за окном почти стихла. Рассвело.

Глава 2

До Староборья они добирались почти сутки. Сначала первым автобусом до Ляховичей, потом попутным молоковозом до развилки, а дальше пешком по лесной дороге, которую в марте нельзя назвать дорогой. Ночевали в Черничках, в доме Устиньи. Печь там не топили с осени, но она держала холод по-другому, чем стены архива: без сырости, как держит его вещь, которая помнит, что её ещё затопят. Корнеича Никита не видел. Стася один раз кивнула в тёмный угол за печью, и этого оказалось достаточно.

Вышли затемно. Он проверил по телефону: 05:20, суббота, двадцать седьмое марта. Записал в блокнот, как записывал всё. Лес начинался сразу за последним огородом, и первые двести метров был лесом, как любой другой: ольха, сырой мох, обмякший снег в канавах. Потом деревья кончились.

Межа лежала на месте вырубки. Он видел это место раньше, в январе, и тогда оно ещё было живым: срубленное, но живым, в запахе смолы и дыма. Теперь всё осело. Пни стояли ровными рядами, как стоят знаки на кладбище, где похоронено слишком много сразу. Земля парила. Над чёрной оттаявшей почвой шёл белёсый пар, низкий, до колена, и в нём серые остатки снега лежали пятнами, точно кто-то разбросал по полю мокрые простыни. Было тихо так, как тихо

только там, где не поют птицы. Не потому, что птиц нет, а потому, что они знают.

Стася остановилась у крайнего пня. Никита встал в двух шагах позади, чуть сбоку. Он знал это место в порядке: сначала хозяйка порога, потом должник. Не по этикету, а по устройству мира.

— Здесь, — сказала она. — Дальше только по зову.

Она положила ладонь на спил. Постояла так, закрыв глаза, как стоит человек у двери, за которой спит больной. Потом сказала негромко, не Никите, а в воздух:

— Я пришла. Устиньина. Хозяйка порога в Черничках. Пришла говорить.

Ничего не изменилось. Пар по-прежнему тянулся над землёй, снег лежал на своих местах. Никита достал телефон и увидел, что экран моргнул, потом погас, потом включился снова, и цифры на нём остались те же: 05:58. Он ничего не сказал.

Потом он заметил, что видит дальше, чем следовало. Край вырубки, где начинался настоящий лес, будто приблизился. Не сам лес, а граница. Между последним рядом пней и первой стеной ельника образовалась полоса, которой там не было: узкая, тёмная, как тень от облака, которого нет.

В этой полосе стоял кто-то.

Он не вышел и не появился. Просто был, и непонятно было, давно ли. Высокий, выше любого человека, но не огромный. Никита потом пытался вспомнить лицо и не смог: оно

оставалось там, где взгляд цеплялся за ветки и не мог оторваться. Одежды тоже не было, или была, но цвета мха и коры, так что глаз не находил границу между ним и лесом за спиной. Он смотрел на Стасю. Не на Никиту.

— Хозяйка, — сказал он.

Голос шёл не из груди, а откуда-то из-под земли: ровный, негромкий, без угрозы. Так могла бы говорить вода в глубоком колодце, если бы вода умела говорить.

— Я, — сказала Стася.

— Зачем пришла?

— За межой. Она оттаяла.

— Оттаяла.

Он помолчал. Никита стоял неподвижно и не шевелил даже пальцами, чтобы не скрипнуло пальто. Он знал, что ему не к лицу говорить. Хозяин леса говорил с хозяевами порога, потому что они одни держали границу между внутри и снаружи. А человек, потерявший свой порог ещё в Ольшанах, для леса был просто должник. Должников лес слушал только по бумаге.

— Ты не одна, — сказал хозяин.

— Он со мной.

— Он мне должен.

— Знаю, — сказала Стася. — Не он. Контора. Через него.

— Через него, — повторил хозяин, словно пробуя слово на вкус. — Пусть стоит.

Никита стоял.

Дальше они говорили вдвоём. Никита слушал и ничего не вставлял. Когда он однажды открыл рот, Стася даже не повернулась, только чуть двинула плечом, и он закрыл. Вспомнил, что так же молчат в кабинете у начальника следственного отдела, когда решается не твоё дело, а дело, в котором ты только фигура.

— Закладная, — сказала Стася. — Та, что лежала на меже. Её забрали.

— Забрали, — сказал хозяин. — Тот, кто пишет ровно.

— Мы вернём.

— Вернёте.

— Скажи как.

Хозяин молчал долго. Туман над пнями поднялся на ладонь выше и опустился обратно.

— Залог ложится на межу, — сказал он. — Не в руки. На межу. При видящих. Когда оттает, и не позже, чем Юрьев день. Шестое мая. После этого межа закроется, и залог будет считаться несуществующим.

Никита, не поворачивая головы, достал блокнот и записал: «6 мая». Потом посчитал в уме: двадцать седьмое марта, остаток марта — четыре дня, апрель — тридцать, май — шесть. Сорок дней. Дописал рядом: «40».

— Силой? — спросила Стася. — Если принести закладную силой. Если взять.

— Железо, — сказал хозяин. — Я не принимаю железо. Принесёшь железом, будет железо. Не лес.

— Тогда что принимаешь?

— Расписку.

Слово повисло. Никита почувствовал, как у него дёрнулась рука с карандашом. Он не знал, что в этом слове есть весь замысел. Знал только, что слышит его впервые не в связи со своим делом.

— Расписку, — повторила Стася.

— Мне, не железо, — сказал хозяин. — Что залог возвращён. Что принят. Что долг по нему погашен, а не перенесён. Я посчитаю всё, что мне принесут. Не больше и не меньше.

— Ты поможешь?

— Нет.

Ответ был таким же ровным, как всё остальное, и от этого резал сильнее. Никита видел, как у Стаси чуть напряглась спина.

— Я не помогаю, — сказал хозяин. — Я считаю. Принесёте — посчитаю. Не принесёте — тоже посчитаю. Лес всё считает.

— Поняла, — сказала Стася.

Хозяин повернул голову. Впервые, на одно мгновение, Никита почувствовал, что на него смотрят. Не взглядом, а чем-то вроде давления на затылок, как бывает, когда в спину глядит человек, который умеет ждать.

— Тот, — сказал хозяин. — Он ходит в мой лес.

— Он ходит со мной.

— Пусть платит за вход.

— Чем?

— Часом.

Стася обернулась. Впервые за весь разговор она посмотрела на Никиту, и в глазах у неё не было ни жалости, ни вопроса. Только короткое: твоё.

— Час, — сказала она тихо. — Ты ему отдаёшь час. Не провалом. Записанным. Он забирает из твоего времени ровно один час, а ты знаешь, какой именно, и видишь, как он уходит.

— Как это — вижу?

— Пишешь до. Пишешь после. Между ними час. Хозяин берёт. Ты помнишь всё, что было внутри. Но час твой уже не твой.

Никита понял. Это была не та плата, что в Черничках, где из него вырезали куски, не спросив. И не та, что в декабре, когда сутки уходили как вода в песок. Здесь ему говорили заранее, сколько и чего. Он мог сказать «нет». Мог не входить. И знал, что не откажется. Но не потому, что нельзя, а потому, что согласие, данное с открытыми глазами и записанное, стоило иначе, чем потеря.

Он достал телефон. Экран показывал 06:12. Он записал в блокнот, вслух, чтобы слышали обе стороны:

— Шесть часов двенадцать минут. Староборье, межа. Вход. Плата: один час. Согласен.

Хозяин ничего не ответил. Туман над землёй сдвинулся, и Никите показалось, что в нём на секунду открылся проход:

тропа между пнями, до этого не видная. Они пошли по ней втроём, хотя Никита видел, что идут двое, а третий остаётся там, где стоял, и в то же время идёт рядом. Он не стал разбираться.

Лес принял их молча. Внутри оказалось не темнее, чем снаружи, но гуще, и воздух был другой: плотный, с запахом хвои и талой воды. Они шли недолго. Хозяин показал им место, где раньше лежала закладная: ямку между двумя корнями, ещё чёрную от влаги, ещё хранящую форму свёртка, которого там уже не было. Потом показал дальше, туда, где стволы стояли настоящей стеной. Туда он не позвал.

Назад Никита вышел один, потому что Стася осталась договаривать. Он остановился у крайнего пня и посмотрел на экран. 07:12. Он ждал чего-то: боли, пустоты, холода. Ничего не было. Просто час ушёл, и он знал какой, и мог бы пересказать каждую минуту. Он записал: «07:12. Выход. Час отдан. Помню всё». И после паузы, глядя на пар над чёрной землёй, добавил: «Это не провал».

Мельник пришёл, когда солнце уже поднялось над ельником и пар начал рваться клочьями.

Он шёл по вырубке, не разбирая пней, тяжело и прямо, как ходят люди, которым надо дойти, и они дойдут. Антон Борисович, лесничий, в ватнике, в сапогах по колено в чёрной грязи, с ружьём не на плече, а в руке. Лицо у него было серое. Он осунулся с января: щёки впали, под глазами тени, как у человека, который не спал с тех пор, как потерял два-

дцать дней и не знает, что в них было.

Он остановился в трёх шагах от Никиты и посмотрел на него, потом на пни, потом снова на него.

— Слышал, что вы тут, — сказал он. — В посёлке слышно.

— Мы говорили с хозяином, — сказал Никита.

— Говорили, — повторил Мельник. — Ага.

Он сплюнул в сторону. Не со злостью, а как плюёт человек, у которого во рту накопилась горечь.

— Лес вырубили, — сказал он. — На моих глазах. Бумага у них была чистая, всё по закону, печать, подпись, и ни одна сволочь не остановила. А я стоял и подписывал протокол, потому что мне сказали: подпишешь — отстанут.

— Знаю.

— Нет, — сказал Мельник. — Не знаешь. Двадцать дней, Никита. Двадцать дней из жизни, и я не знаю, что я в них делал. Может, с женой разговаривал. Может, с сыном. Может, просто ел. — Он помолчал. — Не знаю.

Никита ничего не сказал. Он умел не говорить.

— Ладно. — Мельник переложил ружьё в другую руку. — Я не для этого пришёл. Слышал, ты опять в это дело лезешь. Не спрашиваю зачем. Я своё уже отдал, мне терять нечего. Если что нужно, подпись, свидетель, дорогу показать, — зовите. Я своё уже отдал.

Он повторил последнюю фразу, как повторяют не для собеседника, а для себя, чтобы она закрепилась. Потом повер-

нулся и пошёл обратно через вырубку, так же тяжело и прямо, как пришёл.

Никита смотрел ему вслед и записывал: «07:40. Мельник. Предложил помощь. Условий не ставил».

Стася вышла из леса через несколько минут. Лицо у неё было бледное, но спокойное. Она подошла, села на ближайший пень и некоторое время молчала, глядя на чёрную землю.

— Всё? — спросил Никита.

— Почти. — Она подняла голову. — Он сказал ещё одно. Что залог должен лечь при видящих. Не при тех, кто слышал, а при тех, кто стоял.

— Кто стоял?

— Те, кто видел вырубку. Те, кто видел заверение. Те, кто видел, как закрыли рот. — Она посчитала на пальцах. — Мельник. Мать Павла. Жук.

— Жук, — сказал Никита.

— Жук. Он сказал: кто закрыл, тот и должен стоять. Иначе не будет счёта.

Никита посмотрел на блокнот. Потом на пни. Контора считала Мельника списанным: человек, подписавший протокол, в её реестре давно числился исполнителем, а не свидетелем. Александру Никитичну она считала старухой, чьи показания недействительны по возрасту. Жука считала купленным, и в этом была права. А Устинья, видевшая всё, лежала на Черничском кладбище.

Сорок дней. Шестое мая. Три свидетеля, которых никто не будет слушать.

Он записал: «Срок: 6 мая. Свидетели: М., А. Н., Ж. Устинья — через книгу. Контора учтёт каждого. Не учтёт одного: что мы пойдём».

Поставил точку.

Глава 3

Автобус высадил его у заречного магазина в начале двенадцатого. Никита проверил время по телефону — 11:07, вторник, тридцатое марта — и записал это в блокнот прямо на остановке, стоя под навесом, пока вода текла с шиферной крыши ему под ноги. Сразу за магазином дорога переходила в улицу, а улица в слякоть: колея с замёрзшей по краям жижей, заборы, тёмные от сырости, редкие дымы над трубами. В Заречье пахло оттепелью и печным дымом, и этот запах стоял над деревней неподвижно, как будто ветер сюда ещё не добрался.

Хозяйство № 17 стояло в конце улицы, у самого оврага. Он знал этот дом, но не так, как знают дома, в которых жили. Дом числился за ним: долг Крупени, принятый в Бресте, был записан не на человека, а на двор, на сруб, на сорок соток под снегом, и Никита вместе с долгом принял и это. Он ни разу не платил за свет в этом доме. Но каждый раз, подходя к калитке, чувствовал на плечах лёгкий, едва заметный груз, как от рюкзака, который надел давно и не снимал.

Мельник уже ждал у калитки. Он приехал раньше на своём «Урале» с коляской, и мотоцикл стоял у забора, тёплый, ещё слегка дымящийся от дороги. Антон Борисович курил, прислонившись к столбу, и смотрел на дом так, будто прикидывал, сколько в нём осталось несущих балок. На Никиту

он только кивнул.

— Я позвонил ей вчера, — сказал Никита. — Предупредил, что приедем двое.

— Она сказала: пусть приезжают, — Мельник бросил окурок в грязь. — Больше ничего. Не спрашивала зачем.

— Она знает зачем.

— Вот поэтому и не спрашивала.

Дверь открылась раньше, чем Никита дотянулся до ручки. Александра Никитична стояла на пороге в вязаной кофте и тёмной юбке, невысокая, сухая, с белыми волосами, убранными под гребёнку. Лицо у неё было усталое, и усталость эта не выглядела болезненной: так выглядят люди, которые долго несли что-то тяжёлое и на минуту поставили, чтобы перехватить удобнее. В доме пахло хлебом. Не свежим, а тем, который вчера вынули из печи и он остывал на столе под полотенцем.

— Проходите, — сказала она. — Сапоги у порога. Я полы мыла.

Они разулись. Никита поставил свои ботинки рядом с мельниковыми кирзачами, и они смотрелись рядом нелепо, как два разных способа прийти в один и тот же дом. В кухне было чисто и тихо. Чайник стоял на плите, на столе лежали три чашки и нарезанный хлеб. Окно выходило в овраг, на ту сторону, где ещё лежал серый снег.

— Садитесь, — сказала Александра Никитична. — Чай.

Никита сел. Достал блокнот, положил перед собой, не рас-

крывая.

— Александра Никитична, — сказал он. — Я не буду вести протокол. Не сегодня. Я только записываю то, что вы скажете, чтобы потом не путать. Если вы против — скажите.

— Пишите, — сказала она. — Я в вашем деле уже два раза свидетельница. В третий раз от писанины хуже не станет.

Он записал: «11:32. Заречье, х. № 17. А. Н. Крупеня. Присутствует Мельник А. Б.». Поставил точку.

Первые полчаса он почти не говорил. Только спрашивал, и вопросы были простые, без нажима: когда, где, во сколько, кто был дома. Александра Никитична отвечала не сразу, сначала смотрела в окно, потом в чашку. Он давно усвоил: человек, который отвечает не сразу, говорит правду, потому что ему нужно сначала её найти. Лжецы отвечают сразу.

Четырнадцатое августа девяносто восьмого года, вечер. Паше было семнадцать. Он вышел утром из дома, как всегда. Лето стояло сухое, жаркое, но к вечеру спало, и он вернулся в одной рубашке, без куртки, хотя его просили взять. Стоял на пороге и не заходил. Лицо у него было белое, не бледное, а именно белое, как стена, как свежая побелка, какой красят печь. Она спросила, что случилось. Он сказал: «Ничего, мам. Я подписал». Больше ничего. Прошёл мимо неё в комнату и лёг на кровать лицом к стене.

— Он не плакал, — сказала она. — Лучше бы плакал.

Никита писал. Лицо мальчика из девяносто восьмого года он помнить не мог: это была одна из пяти пустот, и в этом

месте внутри него ничего не отзывалось, ни тепла, ни узнавания, только ровная ткань, как на месте вырезанного куска. Но он слушал так, как слушал бы про чужого человека. И из чужих слов складывалось: мальчик, белая стена, «я подписал».

— Следователь приезжал? — спросил он.

— Приезжал один раз. Тот, кто с ним был, — она посмотрела на Никиту и сразу отвела глаза, — ну, вы знаете. Вы тогда были молодой, в кителе, с папкой. Я вас во дворе видела. Вы с ним до калитки дошли и обратно ушли. А потом он сам ходил в отдел, это я потом узнала.

— Я не помню, — сказал Никита.

— Я знаю. Вы говорили.

Он записал: «Свидетельница видела меня у калитки. Описание: китель, папка. Я не помню». Последнюю фразу подчеркнул, потому что она была важнее всего остального. Свидетельство, которое подтверждает присутствие, но не может опереться на память самого присутствовавшего, — это не слабость документа. Это его особенность.

— Вы в тот раз сказали, что больше ничего не знаете, — сказал он тихо. — В ноябре. Про тот день.

— Сказала.

— Вы вспомнили что-то ещё?

Александра Никитична не ответила. Она допила чай, поставила чашку, провела ладонью по клеёнке, разглаживая несуществующую складку. Мельник, сидевший у печи, пе-

рестал шевелиться.

— Я не забывала, — сказала она. — Я не говорила. Он просил. — Она подняла глаза. — Паша. Через неделю. Сказал: мам, там у образов, под полочкой, я кое-что положил. Не доставай. Никому не показывай. Если когда-нибудь придёт тот, кто был у калитки, и спросит, тогда. Но он не придёт, сказал, он не вспомнит.

Никита молчал.

— Я двадцать восемь лет не доставала, — сказала она. — Лежит там. Я вытирала пыль вокруг.

— Можно? — спросил он.

— Идите. Вы знаете где.

Он не знал, но пошёл. Мельник встал следом, не говоря ни слова. Они прошли в горницу, в маленькую, чистую комнату с кроватью под вязаным покрывалом и столом у окна. В красном углу висели образа, три иконы в потемневших окладах, под ними узкая полочка с лампадкой, давно погасшей. Никита поднял руку, провёл по задней стенке полочки и нащупал: плоское, твёрдое, прижатое к доске. Не бумага — картон, сложенный вчетверо.

Он вытащил. Это оказался конверт. Обыкновенный, почтовый, с выцветшей маркой, без адреса. Внутри — один лист, сложенный в четыре раза, с потёртыми сгибами, жёлтый от времени. Копия, снятая через копирку: синеватые буквы, чуть расплывшиеся, как расплываются они на всех копиях, которым больше двух десятилетий.

Никита развернул лист на столе под окном и придвинул лампу. Время он зафиксировал по телефону: 12:19.

Текст был типовой: акт, заверение подписи несовершеннолетнего, дело № 31. Всё как должно быть: даты, фамилии, печатный шрифт на пишущей машинке. Внизу, где полагалась строка заверения, стояло: «Подпись заверил следователь Соколов Н. П.». А под ней подпись.

Он посмотрел на подпись и узнал её не памятью, а рукой: хвостик у буквы «С», длинный росчерк вниз, привычку, которую не стёр бы никакой провал. Да. Его. Но что-то было не так, и он не сразу понял что.

— Антон Борисович, — сказал он. — Посмотрите.

Мельник подошёл. Достал из кармана ватника очки в тонкой оправе, надел, и вся его осанка сразу изменилась: из злого, усталого человека он превратился в того, кем был двадцать лет, в лесничего, который читает документы, потому что без них нельзя ни рубить, ни садить.

Он взял лист двумя пальцами за края, поднёс к окну, повернул под углом, чтобы свет шёл вскользь. Читал молча, шевеля губами. Потом провёл ногтем вдоль строки заверения, не касаясь бумаги.

— Вот, — сказал он. — Видишь?

— Что?

— Нажим. — Мельник ткнул пальцем воздух над подписью. — Строка заверения писана ровно, тонко, каждая буква на линии. Чертёжным пером, не шариковой. Это не рука че-

ловека, который спешит. Это рука человека, у которого есть время. А подпись под ней. — Он поморщился. — Подпись давили. Видишь, как продавило? Копирка пошла в три слоя. Писали стоя, на весу или на колене, шариковой, быстро, с нажимом, как пишут, когда торопят.

— Один документ, — сказал Никита. — Две руки.

— Две руки, — подтвердил Мельник. — Я тебе скажу как лесничий. Акт заверения в лесном деле заполняет один человек, одной ручкой, за один раз, в присутствии. Если строку написали заранее, а подпись поставили потом, акт недействителен. Любой инспектор отбросит. Межу по такой бумаге не оформят: ни в девяносто восьмом, ни сейчас.

Он снял очки, потёр переносицу.

— Это не подпись, — сказал он. — Это бланк, который заполнили не при подписанте.

Никита записал: «12:24. Копия заверения, дело № 31. Строка заверения — чертёжное перо. Подпись — шариковая, продавлена, нажим другой. Лесничий Мельник А. Б. подтверждает: акт заполнен двумя лицами в разное время. Основание: профессиональный опыт, лесное оформление». И дописал ниже, не торопясь, чтобы слова легли на страницу плотно: «Первый письменный свидетель».

Мельник стоял рядом и смотрел, как он пишет.

— Подпишешь? — спросил Никита.

— Подпишу, — сказал Мельник. — Дай ручку.

Он расписался под записью: «Мельник А. Б., лесничий».

Расписался твёрдо, крупно, с нажимом. Потом аккуратно, как сапёр, сложил лист обратно по сгибам и хотел отдать Никите. Но Никита не взял.

В дверях стояла Александра Никитична.

— Не уносите, — сказала она.

Голос у неё был ровный, не просящий. Так сообщают условие.

— Это копия, — сказал Никита. — Она нужна на меже. Там при свидетелях.

— Привезу сама. Когда будет надо. Но из дома не уносите. Двадцать восемь лет лежит, пусть ещё полежит. — Она помолчала. — Мне так спокойнее.

Никита не стал спорить. Он понял, что спорить нельзя, потому что дело было не в бумаге.

— Хорошо, — сказал он.

— И оставьте что-нибудь своё, — сказала Александра Никитична. — Не мне. Дому. Взяли у нас, отдайте от себя. Так положено.

Он не спросил кем положено. Он полез во внутренний карман, нащупал картонный край и достал карточку. Плотный картон, пожелтевший по краям, «Дело № 5». Оборот исписан сверху донизу, последняя строка — «Остаток: не указан». Он держал её в левом внутреннем с ноября и ни разу не клал на стол на ночь.

— Ей нужно лежать здесь? — спросил он. — До утра?

— До утра.

— Я могу остаться.

— Оставайтесь. Кровать есть.

Он положил карточку на стол в горнице, рядом с лампадкой, лицевой стороной вверх. Она лежала там, маленькая, жёлтая, как забытый документ в чужом ведомстве. Он почувствовал, что левый внутренний карман стал лёгким. Не пустым, а лёгким, и ему сразу стало как-то неуютно, будто он снял с себя то, без чего вышел бы на улицу раздетым.

Он записал: «12:41. Карточка оставлена в доме по просьбе А. Н. Крупени. До утра. Ночую здесь». И, подумав, добавил: «Плата: доверие».

Потом он взял со стола конверт, чтобы вложить копию обратно, и перевернул лист. На обороте, в нижнем углу, чуть наискосок, как ставят штамп в последнюю секунду перед тем, как убрать документ в папку, стоял оттиск. Круглый, фиолетовый, с мелкой рамкой по краю. Контора. Он знал этот шрифт, этот строгий рейсфедер. Внутри круга, в две строки: «Ш. 4 — пол. 2». Шкаф четыре. Полка вторая.

Он не называл этого номера вслух ни Мельнику, ни Александре Никитичне. Он говорил о нём только Стасе, и то шёпотом, и только в блокноте записал ровно один раз.

Никита положил лист в конверт, конверт на полочку под образа, в то самое место, где он двадцать восемь лет ждал. Потом сел на кровать, достал блокнот и вывел под последней записью три слова: «Штамп на обороте».

Больше ничего писать не стал. Капала вода с карниза. На

кухне звякнула посуда.

Карточку он забрал утром. Александра Никитична сама подала её ему на ладони, как подают хлеб, и спросила только: «Спали?» Никита ответил, что спал. Это была неправда, и она, кажется, это знала. Левый внутренний карман снова потяжелел, и он поймал себя на том, что выдохнул.

Глава 4

До Бреста он добирался весь день, с пересадками, с остановкой в Ляховичах, где у автобуса отвалилась выхлопная труба. К отделу подошёл уже затемно. Проверил время по телефону: 21:46, среда, тридцать первое марта. Записал в блокнот. Здание стояло в глубине двора за облупленным забором: двухэтажное, жёлтое, с зарешёченными окнами первого этажа. Над входом горела одна лампа, и свет её был плоский, без тепла, как всегда у казённых ламп.

Дежурный сидел за стеклом, молодой, с усталым лицом, и листал что-то в телефоне. Никита положил на подоконник удостоверение. Просроченное, но вполне настоящее: бывший следователь. Дежурный глянул на него, потом на фамилию, потом на Никиту.

— К Анатолию Сергеевичу, — сказал Никита.

— Он ещё здесь, — сказал дежурный. — Он теперь всегда здесь. Второй этаж, последняя дверь.

В голосе не было ничего, кроме констатации. Никита записал и это: «Теперь всегда здесь».

Коридор второго этажа был узкий, с линолеумом цвета запёкшейся крови. В конце, под дверью, лежала полоса жёлтого света. Он постучал, не получил ответа и вошёл.

Кабинет был маленький, на двоих, но второй стол пустовал: на нём стояла стопка папок, придавленная кружкой, и

больше ничего. За первым столом сидел Жук. Анатолий Сергеевич. Участковый уполномоченный. Лет пятидесяти, плотный, гладко выбритый, в форменной рубашке с расстёгнутым верхним воротом. Руки лежали на столешнице ладонями вниз, ровно, друг рядом с другом. Лампа под зелёным абажуром освещала только эти руки и бумагу под ними. На подоконнике булькал электрический чайник, и никто его не выключал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.